

ВСЕ ОТРЕЗАНО

Рассказ

Похоже, настало время определиться со своим прошлым. Ни врачи, ни палачи — никто не грозит мне никаким приговором, но тут ведь главное, как ты сам чувствуешь, а я чувствую — да, пора. И не такие орлы крылышки сложили, не успев сообразить, чем же была их промелькнувшая жизнь, а все же... нет, не так.

Главное знание заключается в том, что жизнь человеческая до безобразия коротка. Да. Но и живи ты хоть сотню лет, а на исполнение замысла тебе дается всего-то двадцать один год, если не меньше. Для наглядности нарисуй недлинную временную ось и попробуй расставить на ней точки своих явных провалов и успехов. Небогато, не так ли, даже если первым выдающимся событием пометить самостоятельную езду на двухколесном велосипеде типа «Школьник».

Сам бы я при таком подходе начал вспоминать с той весны, когда дед умер, а в небе взошла красивейшая за все столетие комета Bennett с двумя хвостами. Она появлялась под утро на северо-востоке, над увалом, называемым Горой, и первую неделю после похорон я, кажется, вообще не спал ночами. В потемках уходил на увал с самодельным угломером и лопатой, разворачивал там свою сургучно-веревочную лабораторию и до появления кометы слушал ночь. И земля, и космос в эти часы были открытыми и близкими мне, а люди спали и казались детьми. Когда длина хвоста кометы достигла десяти градусов и восходить она стала пораньше, я позвал на зады отца. Выводил его с отвернутым на глаза околышем треуха, поставил перед плетнем и сказал: теперь посмотри на Гору.

Каталожное имя и всю историю Bennett я узнаю осенью, а тогда мы проговорили целый час не только о звездах. Смеялись, и наши петухи пели часы показушно старательно и стройно. Оказалось, домашние заметили мои ночные вылазки сразу, как стали исчезать пирожки с листа, укрываемые бабушкой на ночь рушником, но увязали все с девчатами, и матери уже точно было известно, к кому я бегаю: младшая Потаповых стала здороваться с нею, не поднимая глаз. «Так, Вадька, восьмой заканчивай без троек, среднюю школу — на отлично и будешь учиться в Москве, в главном университете», — сказал тогда отец.

После майских я соберусь показать Bennett той же Потаповой, но хвост кометы уже вытянется в ниточку, и вряд ли она его действительно разглядела, пискнув: «Ой, какая красивая», — вы, девчата, и не такое имитируете. О том, как умирал дед, напишу через десять лет, рассказ станут изучать в школах да и сейчас еще проходят. Так что на одномерной оси моя весна шестьдесят девятого никак не помещается — ни провалов, ни успехов, разве что восьмилетка потом будет окончена действительно без троек. Другое дело — семидесятые. Первые публикации в физико-математических и литературных журналах, какая-никакая карьера, первая женитьба по залету, первые сыновья, первый блуд. Тут, правда, не совсем понятно, каким цветом что метить, но цепочка выстраивается убористой. В восьмидесятых — книжки в сто-

личных издательствах, последние шишки от партийной дубины, депутатство в областном и районном советах, еще сыновья и первые смерти по моей неподсудной вине. В девяностых — дела общественные, два года тюрьмы, из которых отдельно можно пометить арест и первый этап с вологодским конвоем как предельное унижение, а под самый конец десятилетия — рождение первой внучки.

В тюрьме я впервые и попытался осмыслить свои сорок прожитых лет. Изготовил кубики из клекового хлеба, высушил снизу на регистре и, перебирая самодельные четки, понял, что осмысленность всей жизни действительно определяют жизненные пики, но одной временной осью тут не обойтись. Жизнь человека превосходит себя не в длину — даже в смысле воспроизводства, — а в высоту, реализуя ценности, или в ширину, воздействуя на общество. Так появилась работающая система координат, где вертикальная ось восходит от отчаяния к осуществлению смысла, одна горизонтальная протянута от неудачи к успеху, а другая — от толпы к сообществу. Только в такой системе можно обнаружить отчаяние, несмотря на успех, и понять осмысленность существования даже и в неволе. Как говорил Диоген, если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл.

В нулевые мою жизненную кривую вновь исказят — хорошо, украсят — соизмеримые пики реализованных смыслов. Шестидесятый победный май я самым чудесным образом, как победитель, встречу в Москве, и университет, и верных старых друзей повидать, и новыми публикациями отмечусь, потом восстановлю порушенную тюремной карьерой, а вот с семьей этого не получится.

В самом начале нулевых я привез на родину свою вторую, юную жену. В застоле рассказывал, как ловко удалось нам получить полуторку в общежитии и уже перестроить ее под себя, из чего и какие складываются у нас доходы, но отец, вроде бы любивший такого рода подробности, реагировал вяло, почесывал левый глаз и вдруг сказал: «Всю твою жизнь, Вадыка, искалечили бабы». — «Ну, а жида и американцы угондошили нашу с тобой страну», — нашелся я. «А что, не так, что ли?» — закончил батя риторическим вопросом и ушел спать. Мы с ним досиживали вечер в гараже с поллитровочкой, я накатил остатки и отправился не в отведенную молодым спальню, а на Гору; ночью, после далеких школьных лет — впервые. Не знаю, что я хотел там найти, а наткнулся на плотный клубок памяти — это, скорее всего, правда, что не все наши воспоминания хранятся в черепной коробке, так, какая-нибудь часть, ставшая нарративом. Поднявшись на полста метров по увалу, я смотрел на огоньки все тех же трех сел внизу-вдали и на Большой Летний Треугольник в небе.

Лира, Лебедь, Орел и затесавшаяся к ним Лисичка — так я представлял когда-то любимые созвездия другу Вовчику и старшим сыновьям. Под Денебом светило село, где я заканчивал среднюю школу, под Вегой — наше родное, а под Альтаиром угасала Роптанка. На вершину увала похоже, что трактором приволокли отжившую свой век ветлу, мелкие сучья и кора ее давно сгорели на кострах, а на голом коряжистом стволе можно было устроиться целой компанией. Я уселся на развилку, нашел опору для спины, вытянул ноги к комлю — айда ночевай, Вадыка, — и стал смотреть в засеянное небо. Летний Треугольник окормлял густой участок Млечного Пути, посверкивала внутри его Стрелка — оттуда и стал размазывать серебряный клубок. Впору было вспомнить молитву какую-нибудь, и я вспомнил: «Среди миров, в мерцании светил одной звезды я повторяю имя... Не потому, чтоб я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света».

До ночевки на увале дело, конечно, не дошло, но не скоро уснул я и дома. О том времени, куда унесло меня, могло напомнить изрядное количество тетрадок, писем и фотокарточек, но вся эта куча была безвозвратно уничтожена первой женой, называвшей меня бабником и скотиной. Дольше всех продержался давний вызов из университета, но и тот в конце концов словно истерся и испарился. Когда почтальон принес его, жена доила, а я сгонял мух и слепней с коровы, чтоб не хлестала хвостом куда ни попадя. Вскрыл конверт и выразительно прочитал содержимое вплоть до расшифровки подписи декана физфака МГУ Василия Степановича Фурсова. Жена встала из-под коровы и, только что не наподдав ногою ведро, ушла в дом, я побежал следом и сунул бумажку — порви сама, а корова не виновата. Но все не так однозначно было и здесь. Как-то вскоре мы поливали речной огород, я отвлекся, растолковывая соседу закон Бэра, механизм образования меандр — отчего, короче, у наших рек берега подмываются по-разному, и петляют они даже на самых плоских равнинах, а жена как спустилась за водой, так и пропала. Застеснялась своей беременностью, решил я, свернул просветительскую беседу и — обнаружил ее плачущей Аленушкой на мостках. «Тебе что, плохо?» — «Да-а, — завывала она, — ты теперь скажешь, я тебе жизнь испоганила». — «Да почему испоганила, мы ж еще и не жили», — у меня это, честно сказать, получалось — вернуть какое-нибудь уместное слово, правда, понятным я бывал через раз, но правда и то, что боязливый зад редко когда пукнет весело.

Я не думаю, что там была исключительно ревность — подмена любви, — может быть, плюс инквизиция, хотя и это не точно. Первый аутодафе — свой *actus fidei* — она вершила не перед костром, а в уборной, построенной по случаю нашей женитьбы, да и позже моя писанина летела не в огонь, а — разодранная — в грязь и в помои. Ей бы утопить мои бумаги в дерьме, не читая, а она, видать, их все до одной исследовала. Может быть, и она знала, что только духовная близость имеет значение, и просто бесилась от бессилия, кусая меня и всех, с кем я сходил ближе положенных ею пределов. На запястье, прикрываемая ремешком часов, у нее есть наколка «Гена», а я воображал вообще целую роту предшественников-свояков, которые знали ее совершенно другой: веселой, заводной, ненасытной в любви. Со мной она была такой один раз за все без малого тридцать лет, в ту новогоднюю ночь в клубе, за столом, на диване в учительской. Я тогда преподавал математику в родной восьмилетке, она учила мою сестренку-второклассницу... Стоп, ведь не это вспоминал я той летней ночью.

Начать с того, что в школе я был страшным общественником. С первого класса участвовал в постановках и читал стихи, пока голос не поломался и не угас, выкладывался в легкой атлетике, рисовал угарные стенгазеты и был прославлен брехней — своими устными рассказами. Читал на самом деле немного, но пересказать мог все, фантазируя на пустом месте. А к одному из последних вечеров перед выпуском из восьмилетки наш классный Михаил Федорович решил выучить меня игре на балалайке — сам он мог и на гитаре, страстно любил мандолину. Через неделю, ввиду отсутствия у меня слуха, стало ясно, что дуэт не сложится, и на вечере мы солировали порознь. Он исполнил «Меж высоких хлебов», а после молдавского танца жок вышел я, и мои куплеты стали гвоздем программы: «А за мостом за-азеленела-а полоса кав-аровая — а не печальси — а я приеду — а милка черна-абровая». Хохотали все, даже не пытаюсь расслышать, о чем я конкретно страдал девять или двенадцать куплетов.

Михаил Федорович приехал к нам после войны, чтобы забрать жену, эвакуированную из Подмосковья с детским домом, да так и остался. В детдоме,

а потом в школе преподавал русский и литературу, меня научил фотографии, радиоделу, нагрузил журналами «Техника—молодежи» лет за десять, как оказалось, самых прорывных, а на выпуск подарил красную книжку «Имена на поверке» — стихи погибших поэтов-фронтовиков. Хотел бы Киплинга, признался, но не нашел. И стал читать наизусть: «Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неуловимый бег, тогда весь мир ты примешь как владенье, тогда, мой сын, ты будешь человек», — потом я отыщу другие переводы «If», а этот помню и сейчас. Своих детей у них с женой не было, и в меня Михаил Федорович напихал всего с избытком. «Эти ребята Киплинга знали, факт, — сказал, поглаживая книжечку. — Ифлийцы, особый призыв. Мобилизовали весь второй курс аспирантуры и старшекурсников через одного. Прямо с лекций увезли на грузовиках и зачислили политруками в армию. Больше половины погибли. А институт после войны разорили как гнездо буржуазного космополитизма. Александр Трифонович успел его до войны закончить». Он был знаком с Твардовским, с выжившими, но так и не доучившимися студентами ИФЛИ — Института философии, литературы и истории, сам что-то писал великолепными авторучками, но мне ни одного листка из его бумаг не досталось.

Потом я буду с первого номера получать «Квант», стану печататься в нем, моя полка наполнится книжками по физике и математике, но «Имена» останутся всегда под рукой. «Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли не долюбив, не докурив последней папиросы». Я завидовал им и томился своими малыми летами и скудными знаниями.

На первом году в средней школе я сошелся с физиком Василием Александровичем, которого местные называли Васяня-кот, и со второй четверти он стал решать мне первым излагать новую тему, а потом вступал сам со словами: «Та-ак, а согласны ли с этим бредом я и Александр Васильевич Перышкин?» Он знал автора бессмертного учебника, ездил делегатом чуть ли не на самый первый съезд учителей, или, как он говорил, шкрабов; вместе мы готовили демонстрации и лабораторные, и он всячески поддерживал отцово решение отправить меня на учебу в Москву. С математичкой дальше индивидуальных заданий мы не пошли и никаких внеурочных тем не поднимали. Вообще тихо как-то было в школе после уроков, почти мертво. Бывало, только я возился в лаборантской да трудовик постукивал в мастерской.

На торжественную линейку перед последним учебным годом я не попал: сволокивали солому в родной четвертой бригаде, а когда заявился, новостей было выше крыши. В школу назначили нового директора Силуанова, который привез с собой из города О. сразу двух учителей. С физруком Дерягиным, мастером спорта по штанге, мы познакомились в тот же день, а словесница преподавала в классах помладше и на глаза не попала. На второй или третий день ко мне на уроке подошел Василий Александрович и сказал: «Так, сейчас тихохонько встаешь и шагом марш к директору. Вещи оставь, я в лаборантскую заберу».

В кабинет директора я вошел с ходу, без стука, но «здрасьте» сказал внятно. С подоконника, сверкнув коленками, соскочила маленькая женщина, а из-за стола поднялся здоровенный кудрявый парень в сером костюме. «Здра-асьте», — пропела женщина. «Привет, — сказал директор Силуанов. — Вадим, я так понимаю. Говорят, паяльник держать умеешь». — «Ну», — сказал я. «Валерия Захаровна», — сказала Лера, протягивая мне руку. Все эр и эл родного языка в ее исполнении станут для меня невоспроизводимой музыкой. Ладошка была небольшая, твердая, глаз ее за темными стеклами очков я не разглядел. Скуластенькая, короткая стрижка, белая рубашка и темный сарафан балахончиком. «Пойдем», — сказал Силуанов, звякнув ключами.

Вдвоем мы зашли в кабинетик, где я не был ни разу. На двух столах громоздились провода, проигрыватели и проекторы, магнитофон «Яуза» без крышки, всеволновой приемник «Казахстан», ламповый трансляционный усилоч У-100 — да много чего электрического. «Ни один не работает, — вздохнул Силуанов. — А начать надо с радиоузла. Понятие имеешь?» У меня были три толстых книжки по радиоделу, и единственная непрочитанная называлась «Усилители и радиоузлы» — думал, никогда не пригодится. «Надо с приемника начать, — сказал я, — реальный же сигнал потребуется». Силуанов согласился, все равно еще «лапшу» добывать для разводки по классам, а мне просто не терпелось послушать короткие волны, их в «Казахстане» четыре поддиапазона. Но сначала надо было разобрать хозяйство, на что и ушел первый прогулянный урок.

Потом оказалось, что в приемнике достаточно заменить сетевой предохранитель и перетянуть вернерное устройство, в усилителе вообще ни одного предохранителя не было, а магнитофон тянул звук и после замены пассива. Пару раз в радиорубку заходил Силуанов, оценил наведенный порядок, предупредил, чтобы с уроков я отпрашивался сам, правда, разрешил в случае непонимания сослаться на него; колхозный телефонист пообещал ему не только метров сто «лапши», но и пятток абонентских громкоговорителей.

После уроков они пришли с Дерягиным, расконопатили форточку и стали курить и балагурить. Я спросил: «Кто-нибудь поможет мне антенну натянуть?» — «Сам, что ли, не справишься?» — живо нашелся Дерягин, но на крышу полез именно он; растянутый им медный канатик, уже никому не нужный, провисел на коньке школьной крыши еще лет двадцать. К приемнику я подключил динамик от проигрывателя, через форточку затащил снижение антенны, и диапазоны ожили еще до того, как Дерягин закончил монтаж. Когда он вернулся в радиорубку, из динамика доносилось: «Goodbye, Ruby Tuesday — who could hang a name on you». Силуанов курил под форточкой, покачивая крупной головой. «Ain't life unkind? — повторил довольно похоже. — Жизнь зла, не знал?» Но покамест она была прекрасна. «У меня на „шарпе“ есть, между прочим», — сказал Дерягин, когда «камушки» отыграли. «Откуда у тебя „шарп“?» — усомнился Силуанов. «После Мюнхена на бонь сам покупал, — деловито ответил физрук. — Завтра принесу, буду разминки под музыку проводить».

Только заспорили о разводке по классам — я предлагал три отдельных линии или хотя бы начальные классы выделить, как нарисовалась техничка: «Пал Иваныч, вы школу сами закроете?» И все посмотрели на меня. Ну да, они как бы дома, а мне еще на велике пилить пять километров. «Да ерунда», — сказал я. Но и Дерягину пора было к семье, а Силуанову — ремонтировать квартиру к переезду жены. Так закончилась первая осмысленная среда в средней школе, под Рубиновый Вторник — как еще тебя назвать?

В субботу мы начали, а в воскресенье заканчивали разводку двух линий. В коридоре все подряд изрыгал дерягинский «шарп», а сам он пробивал «лапшу» со стола. Я обходил табуреткой, Силуанов всюду доставал с пола, только молоток себе по руке выбрал. Трудовик расsverливал дверные косяки и готовил чопики для крепления громкоговорителей на стенах в классах. Через окно я увидел, что в школу пришла и Лера — короткий плащик, стопа тетрадок под мышкой. Когда подтянулись предупрежденные с субботы технички, мусорить мы уже закончили. Трудовик собрал инструменты, физрук и Силуанов остались на линиях, а я пошел прогреть усилитель. «А если коротнет?» — спросил Дерягин. «Тогда увидим, кто как гвозди забивал», — сказал директор.

Дверь радиорубки была открыта. Лера перебирала пластинки. «И все уже работает?» — спросила. «Сейчас увидим», — сказал я. Когда индикаторная лампа

в «Казахстане» набрала полный накал, у меня уже были подключены два микрофона, и новый я протянул ей: «Говорите что-нибудь». — «Что говорить?» — «Ну, как под мостом поймали Гитлера с хвостом — новости, короче». — «А стихи можно? — и, глядя прямо на меня, она стала читать: — Косым, стремительным углом и ветром, режущим глаза, переломившейся ветлой на землю падала гроза». Я задохнулся от узнавания. Взял второй микрофон и, когда она сделала паузу, продолжил: «И вниз. К обрыву. Под уклон. К воде. К беседке из надежд, где столько вымокло одежд, надежд и песен утекло». Получилось не так, как хотелось, — сипло и неровно, гавканье какое-то. Я сбился, а Лера не без лукавства продолжила: «Далеко, может быть, в края, где девушка живет моя...» Потом она и меня будет учить читать стихи, главное — правильно дышать при этом, так, как их самих учили в пединституте, — мне не привилось. В дверях появился Силуанов: «Что это было?» — «Павел Коган, стихи». — «Буль-буль, буль-буль, — изобразил директор. — Ясно, что не проза, да не разобрать ни черта». — «А я все слышал а-атлично!» — сказал подошедший Дерягин. И мы стали разбираться. Выход в усилителе был один, а коммутатор я делал наспех. «Ну, привари пока два простых разъема, по очереди будем втыкать, — сказал Силуанов. — Говорил же, одну линию надо тянуть, нет, устроили, понимаешь, сегрегацию». Я переключил трансляцию на приемник, мы ходили по школе втроем, подкручивали громкость на динамиках, а Лера в рубке время от времени меняла линии. Треск в пустой школе раздавался жуткий. «Против этого я в коммутатор кондеры и вклеил», — оправдывался я. «Только стены испохабили!» — кричал издали Силуанов. Чуть со всех сторон неслась несусветная.

Я вернулся в радиорубку и застал Леру стоящей коленями на стуле, придвинутом спинкой к столу с аппаратурой, а туфли ее валялись на полу. «Ты знаешь, у Кульчицкого тоже есть о дожде, — сказала она, обуваясь. — Дождь. И вертикальными столбами дно земли таранила вода». Ну, не специально же она выбирала все эти эр и эл. А под внезапный настоящий дождь мы с ней попадем месяцев через восемь, под первый ливень семьдесят второго, промокнем до последних ниток, будем сушиться и все делать как-то без стихов. Да и не любила она стихи на самом деле. Когда я читал с ходу сочиненное: «Шаловливый шелест шелка. Полусвет иль полумрак. Кто подглядывает в щелку, приглушив зевок в кулак?», Лера засмеялась и сказала, что это был чуть ли не единственный раз, когда она вообще пододевала комбинацию.

Постоянно подключенной решено было сделать старшую линию — семь динамиков в классах и два в коридоре, и Силуанов потренировался запускать гимн. «Завтра перед линейкой врубим. И думайте о дикторах, о программах». — «Я о закаливании могу прочитать», — нашелся Дерягин. «Во, самое то, — ухмыльнулся директор. — Сентябрь скоро закончится, а скука — аж скулы сводит. Что, нечего замутить? Или не с кем?» Я сказался наезжающим. «Да все мы тут люди не местные, — рассмеялся Силуанов. — Но вы же нашлись, я так понимаю? — Он ткнул пальцами в нас с Лерой. — Буль-буль, буль-буль. Ищите дальше! А ты, мухач, когда свою штангу привезешь? Я среди бела дня школу закрываю — и мне стыдно, вы это понимаете?» — «Мне даже классного руководства не досталось, с кем заниматься?» — сказала Лера. Не было класса и у Дерягина. «Не, ну, есть же самодеятельность, — предположил я, — актив там». — «Завтра я вам соберу актив в пионерской, — пригрозил Силуанов. — Даже если это сплошь балалаечники окажутся». Я воспроизвел первый куплет своих страданий: «А за мостом за-азеленела...» Лера сняла очки, чтобы вытереть слезы, и я увидел ее глаза. «А если, — заливался Дерягин, — если еще на веннике играть — ваще помрут со смеху». — «А тебя три дня не брить, пачку нацепить и — умирающим лебедем на сцену, — без смеха сказал Силуанов. — Самое то убожество получится».

На первом активе выяснилось, что какое-то шевеление происходит после уроков в интернате, но в школу перенести было нечего. Посудачили и разошлись. На второй я принес «Имена на поверке», Лера достала свой экземпляр, и девчата-активистки подумали, что это наш тайный знак. Послушали, кто как читает. А на третьем решено было создать клуб старшеклассников и к открытию подготовить композицию по стихам ифлийцев — послание потомкам. Круг сузился, но встречи сделались ежедневными. Подбирали стихи и песни («Бригантина» стала гимном клуба), разрабатывали мизансцены. «Выступить будем в физкабинете, — сказал я. — Демонстрационный стол разберем, крышку — на пол вместо сцены, тумбы по бокам, на доску — декорации. И прожектор из эпидиаскопа сделаем — выделять говорящих».

Декорации — это был первый повод остаться нам наедине. Я нарезал обои на полу, склеивал, рисовал контур бригантины, который должен был стать черным силуэтом на фоне огромного закатного солнца. Лера сидела на парте, болтала ногами и что-то говорила — мне было все равно что, я елозил по полу и помалкивал, понимая, что голос-то меня и выдаст. Возвращался домой под вечер и не самой короткой дорогой — мимо Камней, единственного в округе переката на речке. Крутил педали и в какой-то момент подумал: зачем говорить, если можно написать, и той же ночью измарал половину школьной тетрадки. Утром заехал в Бабкин лес, чтобы на знакомом пне перечитать написанное, но в итоге в школу попал под конец занятий и с единственным листком в кармане. Лера мне обрадовалась, потому что разыскивала с утра, а никто ничего вразумительного сказать ей не мог. Она нашла в каком-то журнале вторую декорацию: девушка с поднятой рукой на берегу моря, вид сзади, пара чаек в вышине. Я вернул вырезку вместе со своим листком, сказал, что пока полотно подготовлю, и ушел в физкабинет один, поигрывая ключом.

Лера пришла, может быть, через полчаса с моим листком в руке и сказала, что потеряла эскиз. Я принес из лаборантской свернутую штору для затемнения, бросил на пол в проходе между партами и велел ей разуться. На закрытую дверь мы посмотрели одновременно. Я сказал: «Смотрите на Ньютона». «Встаньте так-то» все равно бы прозвучало как «встаньте раком», а мне надо было рисовать ее со спины. И она стала рассказывать сэру Исааку о моей записке: просто, ясно и при этом стильно и сильно. А самое ее любимое — «Голубая чашка» Гайдара. «Что такое счастье, каждый понимал по-своему», — сказал я. «Да», — сказала она. Потом мы и на людях перебрисывались такими цитатками-паролями — мол, она знает, что я знаю то, что знает она, и наоборот. И вдруг я увидел, как вся она напряглась: не стало заметно позвоночника, округлилась попка, а икры сделались как у культуристки. Быстро набросал ее лодыжки и попросил как бы словить муху над головой — ухватил и линию позвоночника, и плечо поднятой руки. «Можете обуваться», — сказал.

Лера села на дальнюю парту и принялась снова за мой листок. «Правда, здорово! А это на самом деле случилось?» — «Нет, — сказал я, — но могло». Года через полтора она перепишет часть моих записок, отнесет в молодежную газету, там выйдет целая полоса, а на открытие поставят этот самый рассказик. Короче, глобус был большой, тяжелый и стоял в классе на шатком шкафу. На переменах шкаф задевали, и глобус часто оказывался на полу. Его каждый раз возвращали на место, а могли перенести на подоконник и оставить в покое. И вот я решил сделать это сам. Достать глобус даже со стула — нечего и думать, придется раскачивать шкаф... Когда я наскочил на шкаф с разбега, глобус наконец покачнулся, стал заваливаться, полетел вниз, ударился об пол и распался на две половинки. По классу, нарезая круги, покатились шайба или пуговка, а я стоял и смотрел на расколотую Землю.

Записок будет много, потому что Лера от меня уже не отстанет. Она никогда не разбирала их как филолог, оценивала самыми общими словами и требовала — еще. А потом мы болтали о чем попало, при этом мне очень хотелось назвать ее по имени, но только она сама могла как надо произносить все эти эр и эл, да еще в одном слове.

Однажды я остался после репетиции в лаборантской физкабинета, чтобы подготовить какую-то демонстрацию. Василий Александрович специально принес краюху свежего хлеба, дождался, пока мои одноклубники схлынут, и, подмигнув, укалдылял в больницу к жене. Я нарезал хлеб, достал коробку с разными консервами, и тут в лаборантской появилась Лера. «У вас не заперто, — сказала. — Я не сильно помешаю?» — «Кто мешает, того бьют, — сказал я. — Что вы есть будете?» — «Ой, а я правда голодная! Даже чаю не пила». — «Чаю не обещаю, а два кубика какавы есть, — нашелся я. — И вот еще...» Она выбрала кильку в томате, самое то. Я поставил на электроплитку колбу Эрленмейера, приготовил стаканы, накрошил ножом камнеподобные кубики какао. Стол надо было расчистить пошире, я стал убирать книги, Лере достались вырезки о «Союзе-11», она взялась перебирать их и разворачивать. «Что же с ними случилось?» — спросила. Мы разобрали ложки, начали есть, и я стал рассказывать: «В кабине „Союза“ были выключены все передатчики и приемники. Один из двух вентиляционных клапанов открыт. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа отстегнуты, а ремни Добровольского перепутаны, застегнут был только верхний поясной замок». — «Они пытались ликвидировать утечку!» — «Ну, так правильно ведь?» — «Да, но ты представь только! Закипает кислород в крови. Друг друга они не слышат — барабанные перепонки лопнули. Боль по всему телу — декомпрессия же! В кабине туман после разгерметизации. Закрыли не тот клапан и потеряли время». — «Все равно правду мы никогда не узнаем», — сказала Лера. «Правду? Что значит правда? — мне показалось, что она просто не поверила мне. — Подай, пожалуйста, банку с фасолью. Теперь смотри. Что ты сейчас видишь? Круг. А так? Ну не совсем квадрат — прямоугольник. Главное, и круг, и квадрат ты видела своими глазами, значит, и то и другое — правда. Истинным тут будет цилиндр. А если наклеить этикетку какого-нибудь компота, какими будут истина и правда? „Другими“. Просто надо задавать правильные вопросы». — «И какой, по-твоему, вопрос правильный?» — спросила она чуть погодя. «Почему», — буркнул я.

Тут вода в колбе загудела, выплескиваясь, Лера протянула руку к горловине, я успел крикнуть: «Ты что делаешь!» — и припечатал ее предплечье к столу. «Ничего себе реакция! — Лера засмеялась, потирая локоть. — Делай что-нибудь, выкипит же». Я выдернул шнур из розетки, снял брючный ремень, обхватил горлышко колбы плоской ременной петлей и разлил кипяток по стаканам. «Извини», — сказал, ясно сознавая, что мы на «ты» уже минуты три или больше.

Потом я готовил демонстрацию, а Лера читала письма, полученные мной за последнюю неделю. «Ничего не понимаю, но затягивает, — сказала она. — Ты на все отвечаешь?» — «Стараюсь». Писем я получал множество. Мое описание движения заряженных частиц в электромагнитных полях различных конфигураций и напряженностей критиковали за неуместную простоту, но этой же простотой и восхищались. Девчата уже со второго письма начинали интересоваться более широкими темами, потом присылали всякие трогательные вещички; истинно — мы любим тех, с кем нравимся себе.

День, как бы сейчас сказали, презентации клуба наконец настал. Уже зарядили дожди, местные разбежались по домам переодеваться, а мне, приходящему, пришлось шалавиться до вечера в школе. Униформа у нас была простая: белый верх с картонными кружками эмблем на груди, темный низ, но девчата что-

то такое накрутили на головах, подобули что-то — картинки сделались. Лера вернулась быстро и накормила меня какими-то пирожками. Мы нервически смеялись, готова сцену и оборудование, и досмеялись — электричество кончилось. Прибегал Силуанов, не сать, сказал и умчался выправлять положение. Я засучил рукава и включил аварийный план. Из кубовой принес четыре керосиновых лампы — еле донес целыми, по коридорам начались массовые гулянья и жмурки, из лаборантской вытащил два ящика щелочных аккумуляторов — подсоединил «шарп» и прожектор (эпидиаскоп не отключил от сети, и он выдал потом первые и последние тысячу свечей), новообращенный радист Санек из девятого изготовился работать по экстремальной схеме. Вернулся взъерошенный Силуанов, но, увидев иллюминацию, успокоился, быстро вывел на свет из темных коридоров зрителей, и в физкабинете стало не продохнуть.

«Надоело говорить, и спорить, и любить усталые глаза. В флибустьерском дальнем синем море бригантина подымает паруса», — спел недружный из-за моего медвежачьего участия хор, Лера объяснила, кто мы и зачем, и я, ведущий, начал с Рождественского: «Эй, родившиеся в трехтысячном, удивительные умы! Археологи ваши отыщут, где мы жили, что строили мы...» Дальше мальчишки (четверо) читали предвоенную лирику ифлийцев, девочки (пятеро) пели: «До свидания, мальчишки», и мальчишки уходили в потемки, а я оставался, повыше подсучивал рукава и гнал жути про войну. Мальчишки выходили по одному, читали фронтовые стихи и уходили совсем. Николай Майоров, Павел Коган, Леонид Вилкомир, Захар Городисский. Когда девочки начали: «В полях за Вислой темной лежат в земле сырой...», стало ясно, что до публики дошло и премьера состоялась. Но надо было еще пережить минуту тишины в конце, и общий выдох, и аплодисменты.

Лера подбежала первой, обняла меня, и я осмелился прижать ее покрепче, почувствовать и грудь ее, и бедра, и сбруйку на теле — и тут дали электричество, прожектор нас ослепил, и все смеялись и улюлюкали. Подошел Силуанов, разнял нас и увел меня в свой кабинет. «Ну, Вадька, за то, что получилось у вас, — сказал, встряхнув кулаками, — на седьмое — в клуб, а потом поездите». Он разлил водку, достал из сейфа открытую банку сайры, хлеб, и мы стали выпивать и закусывать. «У нее же там, — он махнул рукой, — дикая история была с женатым архитектором. Видал, руки все поисчирканы? Вскрывалась. Вот забрал с собой. Отошла, как думаешь?» А я не видел ее голых рук, она их мне покажет только после Нового года, все покажет. Будет ее истерика после материнского письма с какими-то упреками: «Я же выблядок! Она сама не знает, от кого родила меня, сволочь!» А тогда она влетела к нам и велела налить тоже — ишь, попрятались! Дерягин пришел выпивать с большим куском сала, а перед этим открыл спортзал для танцев, и Санек перенес туда магнитофон.

Ходили и мы танцевать. Силуанов вышел с Лерой на круг, а мы с Дерягиным встали к стенке. Потом меня выбирали наши умницы-красавицы — тормозили, прижимались, а Дерягин в это время отвлекал их парней разговорами. Силуановские запасы мы добились, я наспех прибрался в физкабинете и впервые пошел провожать Леру до дома. Оказалось, что квартиру она сменила: на прежней достали какие-то уроды, хозяйкины родственники. Держались за руки, я нес нашу поклажу, поливал дождичек, шуршал ее плащик, хлопали голенища сапожек, размокшая кепка наезжала мне на уши и на лоб, с козырька капало. Я сказал о силуановских планах, но она их уже знала. Разговор не клеился вообще. Возле дома она сказала: «Я могу войти только одна». — «Тогда до понедельника», — сказал я. Мне до дома оставались еще километров пять тьмы и бездорожья, по времени — часа два. За селом я продвигался от столба к столбу, чуть не пропустил главный

поворот и всю дорогу твердил: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя».

Потом будут наши гастролы по соседям, мы порвем всех на районном смотре, выступив вдобавок с живой музыкой, а вторую композицию так и не запустим. Девчата кипами приносили свои «альбомы» с Асадовым и безымянными авторами, но и тема любви у ифлийцев прозвучала убедительней. К Дню космонавтики что-то свое утили уже пятиклашки.

В разлив семьдесят второго, ночью, мы угнали с Вовчиком колхозную лодку, поднялись против течения до самых Камней и начали блаженный сплав по течению. Ночь была белесой, тихой, и я рассказал другу о Лере. Пора было, потому что после разлива она захотела сама увидеть все наши с ним места, описанные мной за зиму в записках и устно.

Я привез ее на мотоцикле в коляске, высадил в начале нашей улицы, у реки, и отогнал «Ижа» хозяину-соседу. Вечер был теплый, светлый, все лавочки заняты, и наша тоже. Сестренка моя тут же сбегала на разведку, а Вовчик потом рассказал, что шел за нами под берегом до ручья, только на Пески не решился: укрыться негде под этой лунищей. Лера ему понравилась. Сейчас не могу даже выдумать, о чем мы говорили в ту ночь. Потом она скажет, что просто любовалась мной, моим горением, точными словами, перечисляла кучу вещей, которые стали для нее простыми и понятными благодаря мне. На Горе мы оставили свои знаки на скалистом выходе песчаника, на Песках посидели у костерка, а возвращались самой короткой дорогой — через Камни. Вода спала, я собирался с ходу перенести Леру на руках по перекату, но она план разгадала и согласилась ехать у меня на закорках, только чтобы я штаны снял и разулся. «До дома высохнут», — сказал я. «Вот именно, а ты станешь калекой». Под ливень мы попадем через месяц.

Потом нас распустят перед экзаменами, и у меня начнется сенокос. Сочинение я напишу по Чехову: люди сидят, обедают, а в это время рушатся их судьбы. За математику получу четверку только потому, что перед комиссией лягут оба решенных мною и пущенных по рядам варианта. Математичка через много лет признается, что я был лучшим из всех ее учеников, а тогда она, дура молодая, захотела дать мне жизненный урок. «Они должны были съесть твои листки!» — негодовала Александра Андреевна. «А им представился случай закусить мною», — успокоил я ее. На консультации из-за сенокоса я не ездил, к тому же умудрился отравиться лежалой селедкой и однажды, приехав сдавать химию, угодил на историю.

На наш выпускной Лера не пришла, но Санек донес ее записку, и ночь после выпуска я провел с нею. В Москву уезжал наутро, автобусом с центральной усадьбы, и мне оставалось часа два, чтобы сбегать домой за рюкзаком и вернуться. Она ждала и проводила, дала свой адрес, потому что через пару дней тоже уезжала, больше ее ничто не удерживало. Силуанов сидел на чемоданах давно, жена к нему так и не приехала. Дерягин о возвращении в спорт уже не заикался, в школе ему понравилось, дети пили парное молоко, а штангу и гири он намеревался перевезти за лето. Мы все реализовали смыслы открывшихся нам ситуаций в тот год и могли быть счастливы. «Ты даже не представляешь, что ты для меня сделал», — говорила Лера и тут же жалела, что не научила меня одеваться (сама была в каком-то ситцевом платьишке балахончиком), представляла, каков я буду в столице с рыбацким рюкзаком и удостоверением личности вместо паспорта. Мы целовались, стукаясь зубами и очками. Исходили все окрестности, издали проводили наш выпуск за село, встречать рассвет. «Ты хочешь быть с ними», — сказала она, а я хотел быть одновременно в сотне, может быть, мест.

Лере я написал из университета, что заселен в главное здание, в сектор В, в боксе со мной философ-заочник из Чимкента и — ты не поверишь — Лешка Федотов из города О.; жара адская, горят торфяники, и Москву заволокло дымом. До экзаменов была куча времени, и готовились мы только ночами, когда зной немного отступал. Лешка был вечерником, лет на семь старше меня, физфаком его заразил какой-то выпускник, с которым они строили бетонку Москва—Саратов. Скоро я стал получать письма от Леры, почти каждый день. Ей пообещали место в пригородной школе. Она помирилась с матерью. Сняла квартиру напротив школы. И вдруг — она испугалась, что никогда не дождетя меня, никогда. Я уже сдал две математики, а Лешка завалил первую же, но еще ошивался в университете, попивал «тамянку» и спорил с будущим советским философом, как бурсак. То, что я прошел главный фильтр, нагнало на него окончательную скуку, и он засобирился домой. Я перечитал письмо с «никогда» и сказал, что еду с ним. Потом вместе поступим.

«Спросим: мыши есть?» — фантазировал Лешка, когда мы отыскивали наконец нужную квартиру. Дверь нам открыла востроглазая тетенька. «Нам Валерию Захаровну», — сказал я. «А Лера в деревне, к свадьбе готовится», — сказала тетенька, скушав «Захаровну». «К чьей, может, я знаю?» — нашелся Лешка. Оказалось, к своей. Потом она скажет, что все написала мне сразу же, каждый день же писала. Лешка откровенно радовался и утешал: «Пойдем с тобой в башкирские пещеры — мать родную забудешь!» В пещеры он сходил без меня, подхватил геморрагическую лихорадку и писал длиннющие письма из больницы, подписываясь коротко и ясно: твой Шизя. Я уехал домой, мы с отцом взялись перестраивать баню, а теперь вот, через тридцать лет, он наконец сказал, что бабы всю жизнь мне испортили. Я мог бы ответить, что это просто его план тогда провалился, но он спал уже, а после мы никогда эту тему не поднимали — я был дед, он прадед, и нам хватало иных забот. Если скорбь и раскаяние служат тому, чтобы исправить прошлое, то я в этом совсем не нуждался.

С Лерой мы увидимся через девять лет. Я буду в городе О. по каким-то делам, и друзья-приятели уговорят меня остаться на ночь, сходить к художникам — ставропольское вино будет, «битлы», двойной эпплловский альбом. Я остался, и мы пошли. Все было по плану, но в компании появилась некая В. А., землячка хозяев берлоги. В какой-то момент она подседа ко мне и заявила, что знает обо мне все. «Цыганка, что ли?» — «А Леру хочешь увидеть?» И я вдруг захотел. Они работали вместе, дружили, а больше я пока ничего не хотел слышать. От художников мы возвращались далеко за полночь, в сквере перед нами тормознул милицейский уазик, приятелей ветром сдуло в кусты, а я остался, потому что во мне уже постукивал метроном какого-то невероятного предчувствия, и я считал себя трезвым. «Какой же ты трезвый, если даже убежать не смог», — посмеялись мусора. Я удивился: «Зачем же трезвому от вас бегать?» Короче, заночевал в вытрезвителе. Оправку помню, влажные простыни, правдивые рассказы сокамерников. Выкупать меня пришли в десятом часу. Мы поднялись на второй этаж к начальнику с просьбой не сообщать на мою работу, и он оказался сговорчивым. Даже опохмелил нас, но за это мы ему выступление на коллегии написали, на его взгляд, отличное. Выкуп нам вернули натурой, мы пошли выпивать и думать, где взять деньги на мой отъезд. Денег нигде не было, и вдруг зазвонил телефон. «Можете приехать хоть сейчас», — сказала В. А. голосом сводни.

Оказалось, ее пришли проведать давние ученики, а она пригласила Леру. На людях мы обнялись, почти не видя друг друга, и сели в разных углах. «За ней скоро заедут», — шепнула В. А. Через минуту я выбрался из-за стола и пошел в ванную.

Постоял там, как дурак, помыл руки, еще постоял, а когда вышел, Леру уже уводили почему-то двое, или второй был из компании. «Так даже лучше пока», — со значением сказала В. А. Я взял у нее все телефоны, денег на дорогу, и мы тоже отчалили. Едва добрались — звонок: я закрыл кран так, что... в общем, утром я поехал не на вокзал, а снова к В. А., починять водопроводные краны. Она опять пыталась что-то рассказать о Лере, но я прикрыл и этот фонтанчик.

О своих приездах я звонил на телефон школы, но они все равно приходили на свидание вдвоем. «Что ты, тут столько глаз!» — восклицала В. А., а я думал, что она и есть главный соглядатай, куратор всех наших встреч. Лера улыбалась рассеянно и виновато. Обо всех моих публикациях, премиях и некоторых похождениях они знали и без меня, видели оба раза по телевизору, а интервью по радио слушали в учительской, тогда же всем телефонограмма приходила: поддержать цикл «Школа и общество». Прорисовывались разрозненные картинки наших пропущенных лет, может быть, и яркие по отдельности, но, сопоставленные, они тут же одинаково перекрашивались сепией, делались монотонными, жалкими, банально эмигрантскими. Возвращаясь домой ночным поездом, я потихоньку выпивал, ходил курить в тамбур и думал о том, что никакого будущего у нас нет. Нас нет — есть она там и я тут. Она там — иятут, выстукивали колеса. Стихов я уже не писал, но чужие помнил: «Кому ж нас надо? Кто зажег два желтых лика, два унылых. И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их. О, как давно! Сквозь эту тьму скажи одно: ты та ли, та ли? И струны ластились к нему, звеня, но, ластьясь, трепетали».

В сентябре В. А. устроила нам свидание у себя в квартире. Я приехал, и она засобиралась по делам. Лера была в скользком каком-то платье, и ее пришлось специально придерживать на коленях, пока она снимала мои и свои очки. «Ты научился целоваться?» — спросила она. Я сказал: нет, потянулся к ее красиво уложенным волосам — и сдвинул парик. Она поспешила поправить, но я стащил эту нахлобучку и бросил на стол. Спина ее выпрямилась, попка превратилась в гладкий валун, оставленный первобытным глетчером, а на меня посмотрела перепуганная тифозная тетка. «Вот здесь у меня ничего нет, — сказала она, — все отрезано», — и приложила ладонь к левой груди. Я стал целовать ее, куда доставал, и она уточнила, что удалили грудь, а сердце на месте. Я положил ее на диван и сказал, что всегда помнил о ней. «А я не знаю, что теперь с этим делать», — сказала она. Не знает, как с этим жить, подумал я. Лера засмеялась: «Ты что делаешь, я же в колготках». А я стеснялся на нее посмотреть. В нее и входить, наверное, надо было как-то иначе — она помогла бы, так, да — и дальше ох, и захлюпало. Ни продолжать, ни заканчивать я не мог, но выручила В. А., давшая три звонка, прежде чем ворваться. «Он в школу звонил полчаса назад, расходимся, ребята!» Они вышли вдвоем и направились к своей школе, а я захлопнул дверь минут через пять и двинул в сторону проспекта. Шел и думал о своей первой и последней любви. Хотя первая, последняя — при чем тут это? Каждая любовь переживается как вечная, но и кончается сразу — ох, и... Или вообще без вдоха. Больше мы не встретились и не созванивались.

Когда Лера покончила с собой, выяснилось, сколько вокруг нас было доброхотов. Они знали о ней столько ненужных им подробностей, о которых я и понятия не имел. Я позвонил сводне, она подтвердила известие и сказала, чтобы я приезжал к ней, и мы сходим на могилу. Я не приехал и могилы не видел. Сейчас уверен только в одном: когда-то я отвлек Леру от суицида, а через десять лет — подтолкнул. С этим живу, а она смотрит с небес, и я не знаю, как она смотрит.